

«А ТЕПЕРЬ О ПОГОДЕ...»

Зима. Белая-белая. Длинная-предлинная. Деревня тоже белая, занесённая снегом. На задах огородов она сливается со степью, растворяясь в молочно-сизой дымке. Стужа. Мороз давит градусов под сорок. А по ночам и за сорок бывает. Над нашей поляной, над палисадниками, над домами, в рощах висит промороженной взвесью прозрачный туман. А если в это время с полей дохнёт ветерок – совсем становится неважно. Перебивает дыхание, сковывает руки и ноги, колет лицо. Чуть зазеваешься – нос и щёки побелели.

Так что – гляди в оба. Но сам на себя как посмотришь? Вот и приглядываемся друг к другу.

– У тебя нос побелел...

– Да ты что!

Хватаешься за нос, оттираешь его, отогреваешь и дальше уже бежишь, всё время трогая и проверяя лицо, не занемело ли?

Такая стынь держится у нас с середины декабря и до середины января. Белые степные улицы словно вымерли. Изредка какой-нибудь пацан врежет к соседским ребятам по верхушке сугроба – и завжикает, запоеет под его быстрыми валенками насквозь промороженный снег. И снова тишина.

Оживляют в такую погоду деревню прямоствольные дымы над домами: по утрам розовые, а по вечерам – сначала оранжевые, потом фиолетовые. И лай собак. Да еще радующие электрическим светом окна. Жёлтые и уютные. И как-то странно, что эти же самые окна так грустно и сиротливо светятся издалека, когда едешь ночью по степи. А в степи... Сохрани, Боже, если застанет в степи такой мороз да ещё откажет техника – трактор или машина... Пропадёшь. Так что если приходится выезжать в лютую холодину по неотложной надобности за село, то делают это на лошадях.

Сейчас вот думаю, а как же они-то, бедные, безропотные терпели такой холод? А ведь не просто терпели. Спасали. Лошадь и в метель, и в стужу всегда найдёт дорогу домой.

Бывало, ждёт хозяйка к ночи своего в непогоду. Ждёт, переживает, переходя от окна к окну. На улицу, набросив фуфайку, сто раз выскочит. Нет, не едет! А потом, когда уж совсем измается, услышит желанный скрип полозьев, снова выбежит. Слава тебе! Стоит лошадь с санями у скирды сена, поматывает головой, фыркает. А хозяин вылезать не торопится. Господи, да живой ли? И отпустит сердце, застучит быстро и жарко, когда увидит: спит её разлюбезный в санях в сене, завернувшись в тулуп. И даже похрапывает.

– Вот ведь зараза! – радостно всхлипнет она. Выпил, видать, её Ваня у друга в соседней Куликовке, куда ездил, ну и сморило в дороге. Вожжи на всякий случай к ноге примотаны. Это, если вдруг вывалится в снег. Тогда вожжи натянутся, и лошадь одна никуда не уйдёт, остановится. Вот и спал всю дорогу, а кобыла сама нашла

путь домой и завезла его, умница, прямо в ограду.

Людей в такую погоду на улицах почти не видно. Копошатся в сараях, на фермах, отсиживаются по домам. А те, кто работает, потемну уходят, потемну возвращаются. Вот и не видно. Да и в хозяйстве своём привыкли управляться по ранним утрам да вечерам.

Ночи в это время долгие. Еще и спать не ложились, а темнота уже так надоест, что, кажется, и не кончится никогда. И подумаешь, а как же на Севере люди живут, где по полгода темень?

Во двор выйдешь подышать свежим воздухом, а там, в свете лампочки, горячей у сарая, всё замороженное, стывшее. В изморози и в курже. А до холодов этот свет был уютным и домашним. Привычные звёзды, сквозь заиневшие ресницы, покажутся незнакомыми, расплывчатыми и мохнатыми. Бездонная, подсинённая изнутри высота неба, тоже дышит пронзительным ознобом.

Нет-нет да и раздастся какой-то звук в палисаднике, потом раз-другой что-то треснет в роще, нависающей над огородами. И сразу вспомнишь: «трещат морозы». Не врут, значит. Трещат.

Ещё услышишь, как на далеком разъезде поезд просвистит, простучит по рельсам. Да отчетливо так, внятно. В другие дни его не слышно, а тут будто рядом, где-то за школой.

В такую погоду не разгуляешься во дворе. Ещё раз посмотришь на небо, передёрнешь зябко плечами да побыстрее в тепло, в дом. Размахнёшь дверь, и пар, опережая тебя, белыми колёсами закатится в избу. Отец на страже:

– Ты чего дверь расхлобыстнул! А ну закрывай быстрей! Ишь, напустил морозяки!

Он сидит посредине комнаты, вяжет сеть. Такое зимнее заделье есть почти у каждого деревенского мужика. Кто, как мой отец, сети вяжет, кто прохуdivшиеся валенки со всего села собирает, подшивает. Другие шапки ондатровые ладят, шкатулки из открыток. А то, бывает, повадятся мужики к кому-нибудь в карты, в «шестьдесят шесть» играть. До трех часов ночи просиживают. Курят беспрестанно, шлёпают истёртыми картинками по столу, кричат, спорят, обижаются. Но это, когда морозы помягче. И всё равно наши мамки такое не любят. Говорят: «Ведь выпивают там, заразы». А после выпивки и обморозиться можно. Такие случаи бывали. Ходят потом, руки прячут. Стыдно. Ладно, пальцы на войне или в работе потеряли, а то из-за водки отморозили.

И много ещё всяких дел по зимней темноте, про какие летом и думать никто не станет. Там главное: огороды да сено, дрова, да уголь, заборы да сараи...

У женщин свои работы. Всевозможные вязанья – это первое занятие. Носки там, рукавицы. Есть особые умелицы – из козьего пуха шали и полушалки вяжут. Не только для себя. И на продажу. Кружева – это очень редко было, не сибирское занятие. А вот вышивки всякие для постельного белья и вышивки – сколько угодно. Крестиком вышивали и гладью. Специальными цветными нитками – мулине. Целые картины получались. Гладь особенно ценилась. Много, конечно, зависело от умения и терпения. Мне запомнились вышивки, подаренные маме её сводными сестрами. Она их развешивала и раскладывала в доме во время пасхи. Ставила на них кулички. Так на всю жизнь в памяти и

останется. Если пасха, то бьющее во все окна нетерпеливое весеннее солнце, ликующий скворец на высоком шесте перед домом, запах куличей (их у нас называли пасками), до блеска вымытая комната, крашенные яйца и радостные вышивки с небесными птицами, сказочными цветами и растениями.

Еще пельмени лепили именно в такие морозы. Никаких холодильников тогда не было. А тут – куда как хорошо! Моментально схватываются и промерзают насквозь. Когда их потом в мешочки или в эмалированные ведра с жестяных листов сыпают – они постукивают, как деревянные. Тут, понятно, специалисты были. И тесто надо уметь именно под пельмени замесить, и с фаршем не промахнуться. Да что там говорить – целое искусство – эти пельмени. У одних ешь – чесноком отдают, у других – луком, у третьих – свинина прямо чувствуется на языке. То-то и оно. Название одно, а пельмени разные. Их еще и сварить надо уметь. Чтобы раскусил, и во рту – ни с чем несравнимый горячий пельменный сок. А если прозевал, переварил... Есть, конечно, можно, но вкус уже, хоть нахваливай их хозяйке, хоть не нахваливай, не тот.

Вот еще рассказывали, что делали в Сибири пельмени в каждой семье тысячами, намораживали их на всю зиму и ели. Что-то не верится, чтобы на одну семью так много делали. Может быть, до революции, не в советское время. Да и то в богатых семьях. Это же сколько мяса надо! Причём, разного. Нет, у нас пельмени были лакомством. Делали, конечно, иногда их в большом количестве в каких-нибудь семьях, но это на специальные праздники. На свадьбы, например.

И они там были мельенькие, с ноготок. Так и назывались – свадебные. Еще, говорят, что те, кто жил недалеко от озера Чаны, готовили пельмени из щуки. В наших степных местах такого бы не поняли. Это уже издевательство какое-то. Как рыба с чесноком.

Вспоминается ещё замороженное в эмалированных мисочках молоко. После того, как его оттаивали, вкус у него был особенным, непривычным. Баловали ребятишек и творожными колобками. Брали творог, смешивали с сахаром и сметаной, катали колобки и на мороз. Грызешь их потом – вкусно.

А зима идёт, морозы жмут. Устают от них. Иногда по субботам после бани затевается у кого-нибудь гулянка. Но опять же, среди сильных холодов такое бывает редко, если уж случай какой-то особенный выдастся: свадьба, когда невесту нужно спасать от неловкого положения или гости неожиданно из города нагрянут. Ещё вот на похороны вся деревня собирается. Но это, как говорится, вообще не приведи, Господь, а лютой зимой особенно. Тяжко и могилу долбить в промёрзшей земле, и хоронить на обжигающем ветру. Так у кого старики уж совсем плохие, перед иконками иногда просят: «Боже милостивый, если надумаешь нашего прибирать, так не зимой...»

Но не всё же мороз. Настанет день, когда с вечера отпустит, со стороны озёр потянет ветерок помягче, подбрее. И пойдёт снег. Сначала сухой, меленький, игольчатый. Потом разойдётся, повалит гуще, крупнее, мокрыми косматыми хлопьями. И отец будет заходить в дом со двора уже с другими словами. Раньше как бы уважительно удивлялся:

– Вот это морозыка так морозы-

ка! Ох, и давит. Всё задубло. Земля, наверно, до самой Америки промёрзла.

Теперь же говорит, едва сдерживая радость от желанных перемен на улице:

– А мороз-то сдаётся... Завтра тепло, наверно, будет.

Он всё чаще ходит на кухню, где у нас на столе стоит маленький радиоприёмник, и ждёт вестей о погоде. С этим у нас прямо беда. Как только диктор произнесёт: «А теперь послушайте сообщение синоптиков...», все замирают, потому что в этот момент отец делает страшное лицо и кричит:

– Тихо вы все! Тихо, я сказал!

И прислушивается к каждому слову из радио. Мы тоже слушаем и ничего не понимаем. О нашей деревне там не говорят. Об областном центре, Новосибирске, сообщают часто, но до него шестьсот километров, и погода там и наша нередко отличаются. Но ему всё равно. Как только речь идёт о погоде в любом городе, будь то Москва, Мурманск, Ленинград или Омск, он тут же кричит: «Тихо!» и включает на всю громкость радиоприёмник. И обижается, если кто-то в это время шумит.

Утром снегопад остановится. Потеплеет. Мужики первым делом начнут снег от сараев и от колодцев отгребать. Те, кто живут на краю села, из оград его редко выбрасывают. Ворота настежь открывают, чтобы метель насквозь снег проносила, продирала ветром двор. У кого ворота закрыты – такие сугробы перед заборами намечает, что по ним можно сразу перешагивать во двор. Бывало, задует ветер, закрутит снег да ни на день-два, а на целую неделю. В школу бежим почти по крышам избышек и домов. Необычно, странно. Вни-

зу мужики откапываются. Двери на верандах и в сенках у нас всегда внутрь открывались, чтобы можно было после метели наружу самому выбраться. По вечерам в такие дни нас из школы отцы и матери с фонарями встречают. Это после случая, когда ребяташки, живущие на Калмыцкой улице, с дороги сбились и в степь ушли. Тогда спохватились быстро и сразу их отыскивали.

Отец, как и все мужики в деревне, умел делать руками практически всё. Что – лучше. Что – хуже. Но к некоторым работам относился со своеобразной странностью. Когда я был уже старше и, приезжая в гости зимой, начинал убирать из ограды снег, он долго с ироничной ухмылкой наблюдал за мной, по всегдашней привычке, сдвинув старую солдатскую шапку на затылок, потом изрекал:

– Здоровый ты у нас. Только это дурная работа.

– Какая? – словно не понимая, о чём идет речь, переспрашивал я, хотя такой диалог у нас происходил каждую зиму.

– Да вот эта самая. Дурную работу, говорю, делаешь.

– Это почему?

Он вздыхал, с сожалением, как на бестолочь, смотрел на меня, потом показывал рукой на небо и произносил очевидное:

– Кто набросал, тот и заберёт.

Его голубые глаза при этом, как всегда, смеялись.

Со снегом справятся, за погреб на улице принимаются. Погребов обычно два. Один под полом в избе. В нем основную картошку держат. Для еды. Ещё один – на улице. Там тоже есть картошка – семенная. И кадушки с соленьем. У толковых хозяев несколько. Одна с квашеной капустой. Дру-

гая – с огурцами и помидорами. У некоторых еще и с арбузиками. А есть такая, где огурцы и помидоры переложены солёной капустой. Напитанные её рассолом, они становятся сочными, ядрёными и вкуса необыкновенного. В уголке погреба, прямо на земле, свёкла, морковка и редька. Вот и надо проверить, не померзло ли всё это добро?

А погреба задуёт, целые сугробы над ними. Снег откидают, под ним – солома. Солому аккуратненько в сторону. Ещё пригодится. На крышке старые одеяла, кошма. Под крышкой углубление, и здесь тоже всё переложено ненужными теплыми вещами. А там еще одна деревянная закрывашка. Её поднимут, она с изнанки в лохматой толстой изморози, а из погреба легкий парок пойдёт. Осторожно спускаются по лесенке вниз с керосиновым фонарем. Первым делом к картошке. Посмотреть, пощупать её голыми руками. Если морозом не прихватило, то и всё остальное в сохранности.

Наружу вылазят довольные, с большим эмалированным тазом. В нём солёная капуста, огурцы, помидоры. Еще раз спустятся уже с ведром – за морковкой, свёклой и редькой. Ребяташки рады морковке. Соскучились. Это же не нынешнее время, когда в каждом магазине её круглый год можно купить.

На улице становится веселее, оживлённее. Больше людей, голосов, звуков и того привычного деревенского шума, который так отраден, когда слышишь его со стороны, приближаясь к родимой деревне после долгого отсутствия. С утра потянутся в поля трактора за сеном. Они будут возвращаться уже по поздним сумеркам, с вклю-

ченными фарами, таща за собой на волокушах заснеженные скирды. Нам, пацанам, где же утерпеть, когда видишь такое. Бежим за скирдами, цепляемся за тросы волокуш, катимся на валенках по отшлифованной сеном ледяной дороге. А от скирд тянет забытыми за морозами запахами: сенокосными ягодными перелесками, чабрецом, морковником...

Конь, запряжённый в плетёную из тонкой ракуты кошёвку, трусящий обочь дороги, закосит глазом, изогнет голову в сторону сена и вдруг заржёт. Да так тонко, просительно, перекрывая гул трактора.

Сидящий в кошёвке бригадир, Данила Поздняков, тоже едущий с полей, дёрнет вожжами, закричит с притворной угрозой:

– Балуй! Ишь ты! Вспомнил! Овса ему не хватает...

И засмеётся довольным голосом. Порадуется Данила Федорович, что его конь лето вспомнил. Или сам он его вспомнил? А скорее порадуется и тому, и другому, поэтому ещё веселее и громче попрочит:

– Будет тебе лето, Гнедко, будет!

А куда оно денется, наше лето, конечно, будет.

ГОСТИНЕЦ ОТ ЗАЙЧИКА

С вечера отец скажет маме:

– Завтра в Куликовку поеду, к Грачёву. Надо поговорить, кто-то в Жидовом околке хулиганит, лес без разрешения рубит (отец в это время работал лесным объездчиком).

– Так он же, Ваня, вроде, в Стекланке живёт... Или в Белове?

– Да просто Куликовка на полпути к лесу. Он мне оттуда дорогу

покажет. Замело же всё. Пока морозов нет, надо съездить...

Услышав этот разговор, я начинаю канючить:

– Папка, возьми меня с собой, а? Ну возьми!

И тут же братья налетят. И Петька, и Вовка, и даже самый маленький Сашка:

– И меня!

– И меня!

– И меня!

Отец смеётся:

– Так я же, хлопцы, по работе еду. И потом, это же, ёлки-палки, ещё одни сани придётся в конторе заказывать. Куда я вас столько дену? А если ещё Тузик запросится со мной?

Балуемся, кричим:

– И Тузика возьми, и Тузика!

– Ладно, завтра воскресенье, вам всё равно не учиться... Витька со мной поедет.

И, перекрывая вмиг возникший недовольный рёв, добавит:

– А вас потом всех на озеро возьму – там у меня капканы подо льдом на ондатров стоят.

Но это ещё когда озеро будет. Им завтра хочется. Начинают хныкать. Особенно младшие.

Всех помирит мама, когда скажет:

– Не забудь гостинец им от зайчика привезти.

Отец подхватит:

– А как же, обязательно привезу. Как только встречу его, так сразу попрошу и привезу. Да и как он откажет. Скажу, хлопцы у меня хорошие, прямо солдаты, никогда не хнычут, не расстраиваются.

Младшие затихают. Глаза у них большие. Это что же за зайчик такой, который разговаривает? Про гостинец-то они верят, сколько раз уже родители привозили его, воз-

вращаясь с сенокоса, или когда отец приезжал с охоты.

Утром солнце поднимется, и мы поедem. Перед самым отъездом подбежит к саням мама, подаст отцу небольшой пёстрый узелок. Он улыбнётся ей:

– Хорошо, что вспомнила, Лиза, а то заработали бы мы с тобой, на орехи.

Интересно, о чём это они говорят? Спросить я не успеваю, потому что отец в этот момент шлёпает серую кобылу Куклу вожжами по бокам и командует:

– Но! Поехали!

В санях сено, мы в тулупах. Мягко и тепло. Кукла бежит ходко, расторопно. Ошмётья снега из-под её копыт залетают в сани.

– Глаза береги, – советует отец.

Стараюсь. А сам кручусь в тяжёлом тулупе то в одну, то в другую сторону. Слева бегут берёзовые околки, а справа такой нестерпимый простор, что в глазах не помещается. И снег, снег, снег... Я его сравниваю то с мукой, то с крахмалом, то с известью, то с солью, какая выступает летом по берегам наших озёр. Да зря сравниваю. Он – снег. Белейший, чистейший, вспыхивающий на солнце острыми разноцветными искрами, становясь вдали темнее, синее, пока не сольётся на горизонте с небом, и уже воспринимается как единое пространство. И мы по нему летим, скользим...

Утонуть в нём мне не даёт отец:

– Ах ты, рыжая бандитка! – кричит он. – Смотри, сынок, лиса!

Почти у дороги вижу оранжевое пятно. Точно, лиса. Подъезжаем ближе, а она и не торопится бежать. И только, когда окажемся совсем рядом, скачками перепрыгнет через дорогу и снова остановится, глядя на нас.

– Вот зараза, – будто радуется отец, – вот как она это знает? Как?

– Что знает, что?

– Да, что без ружья едем. Если бы в санях было ружье, даже в сено запрятанное, знаешь, где бы она сейчас была? У-у-у... А тут хоть бы хны. Ну неужели нюх такой?

А мне-то как интересно. Сколько про этих самых лис-хитрюг читал. И всё-таки я немного разочарован. В книгах на картинках лиса всегда большая, пушистая, а здесь, хоть и яркая, но какая-то несерьёзная, по величине почти как серенький корсак, которого я не раз видел за нашим оврагом. Только хочу расспросить об этом бату подробнее, как он перебеёт мои мысли:

– Давай, Кукла, пошевеливайся, а то опоздаем к Грачёву. Поди ждёт уже.

И тут я неожиданно догадаюсь:

– Так это тот самый дяденька Грачёв?

Отец смеётся.

– Тот, тот. А ты что же, думаешь, какой-то другой?

Да ничего я не думаю, просто бывает так: слово как будто существует отдельно, а человек или предмет – тоже отдельно. А потом вдруг они свяжутся. Одно наложится на другое, и с удивлением поймёшь, о чём речь.

Этот самый дядя Паша Грачёв, тоже объездчик, иногда в непогоду оставался у нас ночевать. У меня и моих братьев был к нему боязливый интерес. Вместо одной руки у дяди Паши протез. Мы, послевоенные мальчишки, знали, что такое фронтовые раны. Почти в каждой семье отец или дед пришли домой с жёлтыми или красными нашивками от ранений. В общей совхозной бане видели у земляков розовые култышки рук и ног,

почти узлами завязанное тело на спинах, плечах и боках. И где-то уже бледные, а чаще – ещё синие, багровые, сизые шрамы-рубцы, зацветающие причудливыми узорами после горячей парной.

У дяди Паши протез по локоть. Но несгибаемая искусственная кисть не обтянута, как у других, чёрной кожаной перчаткой. Она какая-то жёлто-зеленоватая и словно отполированная. Когда он ночует у нас, то спит на широкой печи за цветастой занавеской. Я с братьями стараюсь побыстрее прошмыгнуть это пространство. Мы немного побаиваемся дядю Пашу с его загадочной рукой. Её, эту самую руку, мы тихонько, но возбуждённо обсуждаем шёпотом в соседней комнате. Для нас она почти отдельное живое существо. И правда, что там внутри? Какie-нибудь колёсики-механизмы или что? Может ли она двигаться? Спорим, толкаемся.

Как-то утром, когда я уже проснусь, раздастся громкий стук, и с печи что-то упадёт на пол.

И тут же из-за занавески выскочит дядя Пашина голова:

– Вот, едри её мать, – скажет он, – руку уронил. – Поддай, Витька!

А я с места не могу сдвинуться. Стою, смотрю на этот кожанометаллический предмет с завязками и застёжками, с согнутыми пальцами и цепенею от страха.

– Да ты что струсил-то? – смеётся дядя Паша. – Она же – неживая.

Выручит батя, вышедший из другой комнаты. Скажет:

– Ты чего мне пацана пугаешь? Разбросал тут свои руки.

В Жидов околок батя меня не возьмёт. Оставит у своих друзей в Куликовке, а сам с Грачёвым уедет, пообещав через два часа вернуть-

ся. Мы с ребятами хозяина дома (их трое и все мальчишки) поглядываем друг на друга и не знаем, что делать, пока один из них не скажет:

– А у нас косулька живёт, Данькой зовут. Пойдём посмотреть!

Бежим, спотыкаясь, по сугробам. Так в сарае полдня и проведём около косули, которую летом совсем маленькую и больную нашли пацанята около ляги. Теперь она подлечилась, подросла. Доверчиво подходит к нам, обнюхивает ладони, потом вдруг отскакивает, играя, дробно стуча копытцами по деревянному настилу. Мы бегаем в дом, таскаем оттуда для неё то сахар, то хлеб. Наши детские души блаженствуют, цветут, наполняясь добром и любовью.

Хозяин заглянет:

– Вы тут Даньку не замучили?

И озабоченно пояснит:

– Подрос Данька, выздоровел. Хотел его в лес отпустить, да морозы пришли. А он же непривычный. Придётся до весны держать, а там отпустим.

– Не отпускай, папка, не отпускай! – просят его ребята.

– А вот давайте вас в клетку запрём да и не будем выпускать, а?

Мы сникаем.

Потом приедет отец с Грачёвым. Взрослые будут выпивать, курить, разговаривать.

Ближе к вечеру мы отправимся домой. Я оглядываюсь назад, где за гриву садится солнце. Тени теперь длинные, пологие. Постепенно темнота заполняет всю степь. На небе проявляются звезды, оно густеет от них, и скоро над нами уже раскинется бледно-голубая дорога. Я всматриваюсь в неё и начинаю различать отдельные звёзды: одни горят красными точками, другие голубовато подмигивают, третьи

мерцают тихой зеленью. Над всей этой бездонной дивностью висит прозрачно-игольчатый ковш.

Отец напевает что-то неопределённое, длинное, раздумчивое.

Иногда меня окликает:

– Ты как?

– Хорошо.

– Холодает, сынок, да здорово.

Как бы опять мороз не ударил. Ишь, сколько звёзд насыпало. Не замёрз?

– Не, не замёрз, – отвечаю я, удивляясь этой связи между морозом и звездами.

А батя еще с лошастью поговорит:

– Давай, Кукла, пошевеливайся, домой везёшь, скоро в конюшне будешь.

Сани покачиваются на сугробах, покачиваются звёзды, качается по бокам темнота, песня отца становится всё тоньше, тише. И так сладко, уютно, дремотно. И я куда-то улета-а-а-а-ю...

И вдруг толкают меня, тормозят, смеются:

– Ишь, как он заснул на свежем воздухе.

– Да тише ты, Ваня, не пугай его.

Открываю глаза. Передо мной лица отца и мамы, двор в сутеми, освещённая веранда. Поднимаюсь, с меня снимают тулуп. А в глазах ещё звёздное небо, в ушах отцовский мотив и размеренный глухой стук копыт по зимней дороге. Прохожу в дом. Братья скачут, хохочут:

– Проспал! Проспал! Всё проспал!

Садимся ужинать. И тут самый младший, Санька, вспомнит и произнесёт обиженными, дрожащими губами:

– Папка, а гостинец от зайчика?

– Ах, ты, чуть не забыл...

Отец выходит во двор и возвра-

щается с пёстрым узелком. Тем самым, который мама положила нам утром в сани. Я открываю было рот, чтобы сказать... Но в это время отец тихонько мне подмигивает. И я понимаю его. Внутри радость и гордость. Вон какой взрослый секрет мне доверили. Отец развязывает узелок. Там нарезанный хлеб, луковица, сало, несколько варёных яиц. А на столе – утиное мясо с рисом, жареная картошка. Где там! Братья чуть не с дракой налетают на волшебный гостинец от зайчика – самый вкусный, самый лучший.

И в это время диктор по радио скажет: «А теперь о погоде...»

– Тихо все! Тихо! – кричит отец.

Мужской размеренный голос сообщает: «По Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение. Резкое усиление морозов... По юго-западным районам от сорока двух до сорока пяти градусов...».

После ужина отец оденется:

– Пойду посмотрю, что там на улице.

Вернётся, озабоченный, задумчивый:

– А к утру, видать, стужа-то огого будет.

Потом разыщет недовязанную сеть. Один её конец привяжет к специально вбитому гвоздю в стене, другой к стулу, который перевернёт спинкой к себе, достанет специальную деревянную иглу и вздохнёт, принимаясь за привычную работу:

– Ну что ж, передохнули маленько от сильных морозов, будем дальше с ними зимовать.

И как-то тихо будет в этот вечер в нашем обычно шумном и весёлом доме, стоящем на краю степной деревни, где мы жили посередине длинной зимы. А мороз на

дворе всё набирал и набирал свою лютую силу.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Морозы ослабнут, и пацаны целыми днями станут пропадать на улице, затевая всяческие игры в снегу. Строят горки, роют окопы, делают снежные крепости, наступают, атакуют, отбиваются от «фашистов». Звонят по всей деревне голосами. И даже после того, как крепко завечереет, и сугробы станут тёмно-синими, а потом серыми, они ещё долго носятся в свете окон по натоптаным вдоль палисадников тропинкам, пока родители с угрозами не загонят их по домам.

Бывает, что и взрослые какие-нибудь забавы придумывают. Особенно охочи были на такое мой отец и крёстная мать – тётка Надя. Мы её звали лёлкой. Она крестила всю нашу семейную ораву, когда в деревню однажды приехал батюшка. Храма в совхозе не было. Крестили и окунали ребятешек в жестяной ванне в соседском доме Севрюковых. Вот там и вызвалась тетка Надя стать крёстной для меня и еще для троих моих родных братьев. Была она в ту пору женщиной высокой, красивой, немного полноватой. В хорошем настроении становилась озорной, весёлой. Она придумывала костюмы ряженных на святки перед Рождеством, разыгрывала шуточные свадьбы родителей жениха и невесты с катанием их в большой цинковой ванне. Подбивала подвыпивших мужиков ловить кур в чужих дворах для лапши. И много ещё чего.

В один из субботних дней, когда после снегопада немного потеплеет, увидев во дворе моего отца, она неожиданно спросит через забор... Да, надо заметить, что практически вся наша родня жила в Посёлке на небольшой и уютной улочке Первомайской, упирившейся краями в берёзовые рощи, а огородами в степь. На ней в одном ряду стояли дома: наш, дядьки Валентина (женой которого как раз и была крёстная), дальше – дядьки Фёдора и напротив – дядьки Григория.

А задаст тетка Надя отцу вопрос, от которого тот слегка ошалевает:

– Иван, сто грамм хочешь?

Отец, любивший выпить, как, впрочем, и все наши мужики, неожиданно оглянется вокруг, оближет губы и ответит:

– Ну ты, Надька, даёшь. Это, кто же от ста грамм откажется.

И очень рискуя остаться без обещанной выпивки, всё-таки удивится:

– А сегодня какой праздник?

– Смотри, ещё рассуждает, – оценит тетка Надя смелость отца. – Заходи, давай, – и приоткроет калитку, которая раньше была прямо в заборе, разделявшем наши дворы.

Когда они окажутся в избе и сядут на кухне за стол, неожиданно пояснит.

– Морозы вон кончились, чем не праздник.

– Ну да, ну да, – быстро согласится отец, хотя в душе его будет какая-то настороженность.

Ему сейчас главное было всё проделать побыстрее. То есть выпить. А то спохватится жена Лиза, моя мать – куда делся? И первым делом к соседке. А он, вот он, голубчик, сидит со стопкою в руке. И

пропали тогда неожиданные, как с неба прилетевшие, сто граммов.

А тетка Надя не торопится. Она, известная среди родни чистюля и аккуратистка, ровненькими кубиками неторопливо режет мерзлое сало, ставит на стол капусту, огурцы, миску с холодцом, а потом (ух ты!) достаёт из шкафчика едва начатую бутылку «Московской».

«Ух ты!» — это отец про себя произнесёт. Он думал, всё будет проще. Подаст Надежда у порога полстакана самогонки — и спасибо. А тут прямо застолье. Подозрительно. Надька, она баба не простая, всегда может выдать что-нибудь с кандибобером.

Но ничего. Всё вроде по порядку идёт. Выпили. И Надежда выпила. Только в окна всё время посматривает. А обзор у неё что надо. В одно окно, в сторону центрального отделения, полдеревни видно. В другое — вся левая часть нашей Первомайской улицы.

И ещё нальёт тётка по одной гранёной стопке. Тут уж отец совсем насторожится, а она в этот момент возьми да и скажи:

— Ну вот, я так и думала...

Отец на всякий случай торопливо опрокинет водку в рот и слегка осипшим от этого голосом спросит:

— Что? Лиза идёт?

Тетка Надя, покосившись на опустевший отцов стаканчик, скажет, кивнув на бутылку:

— Да ты не торопись, Иван, никуда она от нас не сбежит... А это я про него. — И покажет в окно.

Там вдоль улицы шагает Николай Севрюк. Быстро шагает. С пальной лампой в руке.

— Это он к дружку своему, Ваське Горковенко, — пояснит тётка, которая непостижимым образом, не выходя из дома, знает всё, что про-

исходит на нашей улице. Да чего там — на улице, пожалуй, и во всей деревне. — Он кабанчика сегодня режет, вот и попросил у Кольки лампу.

Она потянется за бутылкой, чтобы налить отцу ещё, но, вспомнив, что тот уже выпил, укорит:

— Чего вот заторопился, Иван. Ведь опьянеешь. Лиза потом накачает мне чертей... Ты вон ешь давай, закусывай.

— Дак, думал, она и идёт...

— И что? Прямо уж так вы нас боитесь? А когда домой придёте — ни тяти ни мамы, тогда такие смелые...

Она сходит к плите, достанет из зелёной эмалированной кастрюли с борщом кусок мяса на кости, положит на большую тарелку, возьмёт нож, спросит:

— Тебе ведь не крошить мелко? Покрупнее нарезать?

— Ты вот, Надька, прямо всё знаешь...

Она засмеётся довольная:

— Чего знать-то, родня, поди. Не в Китае живём, считай в одном дворе.

Поколебавшись, она все-таки нальёт ему.

А отцу и так уже хорошо. На душе спокойствие и полное размягчение, когда все становятся добрыми, когда всех начинаешь любить, соглашаться.

И все-таки, когда она скажет:

— Иван, а давай мы с тобой пошутим, скучно что-то, — рука со стопкой остановится на полпути ко рту. Он выпрямится на табуретке и с удивлением, часто моргая, уставится на неё...

Та, в первую минуту не поняв, чего это он так всполошится, сообщит:

— Тьфу, на тебя! Ты что подумал-то, зараза?

– Дак, а что ещё подумаешь...

– Тьфу, еще раз... Поварешкой бы тебя по башке! Сколько лет рядом живем... Ведь родня... Валька-то – родной брат твоей Лизе! Да и мы с ней давно уже как сёстры. Дети вон наши друг от друга не вылазят! Вот мужики... Водка на уме да бабы... А по-другому никак уже шутить нельзя? Пей вон давай, а то наша дружба сейчас и закончится.

Отец это понимает, стремительно выпивает и приподнимается на табуретке.

– Да куда ты, сиди, – с досадой скажет тётка Надя, – ты, Иван, что-то сегодня совсем никакой. Я к тому... Как на гулянках мы с тобой шутим, вот про это я...

– А-а, – отец начинает вникать, и прежнее размягчённое состояние снова наплывает на него. Он улыбается, вспоминая, как они с Надеждой озоровали, добавляя в застольные праздники азарта и веселья.

– Дак и как?

– А давай на дорожке, в снегу ловушку сделаем и посмотрим, попадет в неё Севрюк, когда будет назад идти, или нет?... Хоть повеселимся... А то прям закисли за эти морозы...

Отец морщит лоб, что-то сообщая, и грозит Надежде пальцем:

– Ох, и хитрая ты, Надька! Это ты ведь отомстить хочешь Кольке. Я же помню, как вы сцепились осенью на гулянке у Романовых... И чего вас мир не берёт?

Тёткины глаза становятся маленькими, сосредоточенными. Ей не нравится, что отец так быстро её раскусил, да ещё после трёх рюмок. Но она, конечно, не признаётся:

– Да прям там, нужен он мне.

Я и забыла уже про то. Просто он мимо прошёл...

Отец же – человек азартный, а она на это и рассчитывала, начинает потихоньку загораться, тут и водка своё дело сделала, но ещё сомневается:

– Да неудобно как-то... А вдруг ногу сломает?

– В снегу-то? Так ты глубоко не рой, а на дно сена набросай.

– Как же я копать буду? Белый день стоит, сразу увидят, что я что-то делаю у чужого дома. А если кто пойдёт?

– А ты моего Вальки шапку и фуфайку надень, и получится, будто он тропинку расчищает.

Как договорятся, так и устроят всё. Отец ямку выкопает, сверху камыша и тоненькой ракиты положит. Снегом все засыплет, замаскирует и, оглядываясь, старым валенком даже следы сделает на снегу. В дом забежит. Смеются оба. Отец на бутылку посматривает, а моя тётка в окно. Только отец шапку и фуфайку на вешалку повесит, услышит, как Надежда растерянно воскликнет:

– Батюшки! – и тут же зальётся смехом.

Отец к окну. На улицу глянет, а там, в его снежной яме по пояс в снегу стоит его родной брат, а мой, понятно, дядька, Фёдор. Стоит, озирается кругом, вращает головой, разводит руками и ничего понять не может. Он живет в соседнем от тетки Нади доме, зачем-то пошёл к отцу и вот попался.

– Теперь уже отец сгибается пополам от хохота:

– Ну, Надька, ты и натворила.

– Здравствуйте! Причём здесь я? Ты брату яму вырыл, а я виновата? – еле выговаривает сквозь слезы тётка.

Она прямо заходится в смехе.

Для неё потешность случая подогревается ещё и тем, что она знает: у отца и дядьки Фёдора в последнее время натянутые отношения, и получается, что отец нарочно соорудил снежную ловушку.

А тут и Фёдор, заметив их мелькающие то в одном, то в другом окне улыбающиеся рожи, что-то сообразит, выберется из ямки и, отряхивая на ходу снег, направится напрямик к ним. Он постучит в дверь (всегда так делает), распахнёт её, встанет у порога, большой, высокий, и будет долго, осуждающе качая головой, смотреть то на отца с лёлкой, то на стол с недопитой бутылкой водки. Потом начнёт укорять, вставляя в речь полуукраинские словечки:

– Что ж вы робите, а? А если б убився я? А если б бабка яка пийшла? А я ещё подумал сначала, что ребятишки балуют. Они, черти, уже всю улицу перекопали. Какое там, ребятишки, когда эти вдвоём собрались!

Говорит он громко, на всю комнату, как разговаривает почти вся наша голосистая родня, переселившаяся в эти степные места с Украины в начале двадцатого века.

– Как вот тебе, Иван, не стыдно, бригадиром ещё работаешь, ну что люди скажут на нашу фамилию...

– Да ладно тебе, Федя, – пытается его остановить Надежда, – не хотели мы над тобой шутить...

Тётка моя была, когда надо, ещё тем дипломатом. И тут она тоже расстарается, уговорит дядьку сесть за стол. Он будет долго отнекиваться, обижаться, несколько раз делать вид, что уходит. И сначала даже откажется снимать фуфайку, бросая на отца значительные взгляды, но... стопку водки в конце концов выпьет. А после этого всё в доме пойдет по-другому...

Как сейчас представляю дядьку Федора и отца моего.

Отец небольшого роста. У него рыжеватые волосы, голубые глаза, прямой нос. Порывистый, быстрый, физически очень сильный. Природный охотник и рыбак. Делать умел по хозяйству буквально всё. Вот только с техникой у него не ладилось. Лучше всего чувствовал себя в степи или на любимых озерах. На воде буквально преобразался. Никогда не паниковал. Знал, как укрыться в камышах во время бури и большой волны. Один ночевал и в лодке на озере, и в голой степи. Быстро и умело делал скрадки, ловушки для рыбы, вязал сети, мастерил мордушки. И все это с прибаутками, потихоньку напевая какой-нибудь мотив. Не помню случая, чтобы он, выезжая на охоту, хоть раз вернулся без дичи. И в совхозе, где работал то учётчиком, то бригадиром, то завтоком, к нему относились по-свойски, не как к начальнику: «Иван Васильич не обидит...»

Дядька Федя – другой. Лицом он в красавицу-мать, в нашу южную бабушку Анну. Чернобровый, кареглазый, полный, с тёмными, крупно вьющимися волосами. Как мне кажется, до самой смерти он так и не поседел. Основательный, медлительно-остойчивый. Он и делал всё, не торопясь, надёжно, на совесть.

И у него, конечно, были свои выверты, как у моего отца со снегом. Ну вот, к слову, с нашей улицы в общественную баню он отправлялся одним из последних. И так приучил к этому банщицу, что та, выглядывая на тропинку, которая шла к бане через березовую рощу, обычно скажет:

– Да где же Федя? Ведь закрывать пора, а он не идёт.

И в каком-нибудь дворе в баный субботний день можно было услышать:

– Прошеперился, Толька? Будешь теперь неделю невымытый сидеть.

– Так не поздно же ещё, Вера.

– Ну да, не поздно! Федя вон уже отпарился, назад идёт. Так что закроют скоро.

Дядька очень любил рассказывать, когда выпьет. И умел это делать. Особенно получались у него рассказы из прошлого. А там, в этом прошлом, нам, пацанам, казалось всё особенным, необыкновенным, потому что связано оно было с жизнью в деревеньке Новорозино, на полуострове Степного моря-озера Чаны, куда и переехали с Украины мои прадед с прабабкой, и где завязалась и начала раскручиваться для всего нашего рода совсем другая, озёрно-степная, сибирская жизнь. Правда, позднее мы перебрались в другие места, где вокруг тоже были озёра. Но мелкие и, в основном, солёные.

Приукрашивал дядька Федя в своих рассказах, конечно, густо. И поэтому, когда он начинал свою речь с неизменной присказульки: «А сейчас я вам всю правду расскажу», – мы прятали улыбки.

У меня к дядьке Феде был интерес особенный. Через него, буквально с первой минуты его рождения, проходила наша родовая драма. Когда в самом начале тридцатых раскулаченную семью моего деда везли по реке в ссылку в Нарым, то будущая бабушка Анна, тогда еще молодая, крепкая и красивая женщина, беременная пятым ребёнком, начала рожать. И по рассказам, упал при этом мой будущий дядька Фёдор прямо в воду, которая была на дне лодки. Пристали к берегу, и бабушку, у

которой началась родильная горячка, оставили в остяцком стойбище. В Нарыме, по мутным сведениям, мои родственники не задержались, выяснилось, что сослали их по оговору, ошибочно, и уже через несколько месяцев вернулись они назад, забрав по пути бабушку вместе с новорождённым...

Карательный бумеранг ещё не раз вернётся и ударит по нашей фамилии. В те времена если кто-то хоть раз попадал в руки НКВД, то его так просто не отпускали. И стукачи-доброжелатели со своими блудливыми душонками старались. Не могли они допустить, чтобы оклеветанный ими человек становился вдруг чист в глазах других. Второй раз моего деда арестовали в декабре 1937-го, а уже в марте 1938-го он был расстрелян по приговору пресловутой «тройки». В 1958-м году его реабилитировали. И руку к этому приложил, в самом прямом и благородном смысле этого слова, мой дядька Федор. В 90-х годах мне довелось читать его письмо к правительству о несправедливости ареста и приговора его отцу, нашему деду Василию. Самым поразительным был адрес назначения на конверте: «Кремль. Калинин».

И ведь дошло. Разобались.

...В доме лёлки после прихода дядьки Фёдора закрутится целая карусель. Почти одновременно там появятся мама и тётка Маруся, жена дядьки Фёдора. Мама с порога начнёт:

– Вот это дела... Я его жду управляться, скотину поить, а они гуляют. Ты что это, Надежда, здесь устроила?

Тётка Маруся, сдержанная и чем-то похожая своим характером на своего мужа, поддержит её и

в адрес своего тоже рассерженно возмутится:

– А ты чего здесь расселся? Ты же к Ивану на пять минут за гвоздями пошёл...

Братьям же, то есть моему отцу и дядьке Фёдору, уже всё равно. Они сидят, смеются, вспоминая какую-то прошлую особенную рыбалку, бросая на своих жён взгляды, в которых и понимание, и пьяное умиление, и сдержанная, припрятываемая до поры до времени ласка, и лёгкая досада: дескать, сами разбирайтесь, не до вас. А толкуют, вроде, о самых обычных для них вещах: что-то о сетях, о рыбе. О том, как эти самые сети правильно надо подо льдом продёргивать. И с такой горячностью что-то доказывают, будто у них это самый главный в жизни разговор.

А ведь бывает у них и по-другому. И обижаются, и подолгу не ходят друг к другу. Потом вдруг – раз! В полчаса соберутся и вместе на охоту с ночевой уедут.

Мама у отца потом спросит:

– Вы же вроде поругались с Фёдором, а тут, смотри-ка ты, на охоту вместе отправились. Как это?

– Ну, поехали да поехали, – ответит отец. – Может, он со мной и ругался, а я с ним нет.

– И вот прямо так, без всяких разговоров, сели в его «хлебовозку» и на озеро?

– А чего рассусоливать? Зашёл к нему, сказал, что утка через Савельево озеро пошла, поедешь? Лодка, отвечает, дырявая. Ладно, говорю, я Витькину раскладную возьму, а ты мою деревянную. Ну и поехали.

Много позднее, почти через полжизни я приезжал к дядьке Фёдору, когда он уже сильно болел и лежал. Мы сидели на кухне с тёткой Марусей за столом. Разговари-

вали, рассматривали фотографии. Она, показав рукой на проём двери в другую комнату, сказала:

– Как забудется – Ивана зовёт.

И вдруг из другой комнаты его голос:

– Маруся, Маруся!

– Что, Федя?

– Я слышу, Иван приехал?

– Нет, не Иван. Витя приехал.

Меня буквально перевернуло всего. Ведь отца уж давно не было на этом свете...

Помню, я тогда отъехал на своей машине от деревни, притормозил возле околка и долго ещё стоял там. «Как же так, как же так? – думал. – Почему эти братовы чувства нужно было так прятать при жизни? Ведь не обманешь ни себя, ни Бога, всё выйдет наружу. Так почему?»

Но разве ответишь на эти вопросы...

В тот давний зимний день тётка Надя будет в ударе. Ничего не объясняя, она неожиданно предложит, обращаясь к женщинам:

– А давайте, девки, сегодня погуляем. Смотрите, все мы здесь. Мой Валя с работы скоро придёт, к Григорию с Нюрой сбегает.

И тут от порога раздастся серьёзный голос дяди Гриши:

– Чего бегать, я уже здесь. А Нюрка и сама скоро прискочит. А вы чего здесь собрались?

Все засмеются. И когда успел войти? Да так тихо, никто и не услышал. А смеялись, потому что знали – чутьё на выпивку и гулянки у него ещё то.

Моя мама, у которой здесь было самое весомое слово, неуверенно посопротивляется:

– А управляться когда же будем?

Тетка Надя её успокоит:

– Да ладно тебе, Лиза. Ребя-

тишкам накажем, они и управятся. Большие уже. За один раз ничего не случится.

И скоро раздвинут в большой комнате стол и начнут накрывать его, сбегав, каждая, к себе домой, чтобы принести, как они скажут, «кто – что». Будет здесь рыба копчёная и солёная, пельмени мороженые (вода уже бурлит в кастрюле под них), само собой, соленья всякие да холодец (у каждой хозяйки по своему рецепту). Тётка Нюра – специалист по грибам – грузочки да волнушки разложит по тарелкам. Ну и самогонка, само собой, появится на столе. Тоже у каждого по своему рецепту выгнанная. А чуть позднее мой отец и гармошку принесёт.

Так вот неожиданно загуляет моя родня. Да с хорошими разговорами, да с песнями, да с плясками под «Подгорную».

Поздно вечером, когда в окнах уже загорятся огни, Николай Севрюк будет возвращаться домой. Он думал, зайдёт к своему дружку на пять минут, занесёт обещанную паяльную лампу и назад. Но задержится. Его дружка подведёт приболевший свояк, и придётся Николаю помогать: и резать кабана, и смолить, и разделявать. Ну, а после, как обычно, выпьют под свежину. А там и стемнеет. Зимой это быстро.

Около дома Фисуренко он остановится. Удивится. Покажется, что поют в доме, и даже гармошку и дробный стукоток по полу, вроде, слышно. Пляшут, что ли? В это время распахнётся на улицу дверь и выскочит моя лёлка.

– Надежда! – позовёт он. – У вас праздник, что ли? Гости приехали?

– Да какие там гости, Николай! «Москвича» я в лотерею выигра-

ла, вот и гуляем! – неожиданно на ходу выдумает она.

И захлопнет дверь, оставив ошеломлённого Николая стоять на улице.

Утром в совхозе только и будут говорить о том, что Надька Фисуренко «Москвича» по лотерее выиграла. Некоторые, правда, станут утверждать, что не «Москвича» даже, а «Волгу». И скупают в почтовом отделении все лотерейные билеты.

На другой день отец, управляясь по хозяйству, оторвётся от работы, остановится у скирды сена и начнёт всматриваться в небо, в степь за огородами, в ту сторону, где его любимые охотничьи и рыбачьи места – озёра. И ему даже причудится, что услышит шелест камыша, плеск воды, гомон птиц. А ведь знает – далеко ещё до птиц. Вон за огородами какие барханы ослепительно-белого снега. До самого горизонта. Это когда же он растает? Но ведь всё равно растает. Завтра начинается февраль. Вроде зимний месяц, но совсем другой. С прибавившимся днём. С другим небом. С припёком через окна, с текущими от солнца в доме подоконниками. Будут ещё в феврале резкие морозы и сильные метели, да такие, что белого света в степи не увидишь. Хотя на то он и февраль, чтобы снег мести. Так природой заведено. И в марте ещё покажут себя крепкие утренники. Но всё уже теперь другое. И воздух, и снег, и запахи на улице и во дворе. Зима другая.

Потом заулыбается, вспомнив, как ни с того ни с сего затеялась вчера гулянка.

«Вот ведь какая Надька, – подумает с восхищением. – Надо же... Начала с шутки и всю родню собрала. Давно так вместе не гуляли.

Скорее бы уж зима заканчивалась. С Федькой бы в Новорозино съездили. Порыбачили бы там, у костра ночью посидели. Как раньше, в детстве. А хорошо, что есть куда съездить, сколько лет прошло, а материн дом до сих пор целый...».

И долго еще будет смотреть в ту сторону, где за гривами спит до весны подо льдом и снегами Степное море – озеро Чаны.

ЖИЛИ И ЖИЛИ...

Батя возьмёт балалайку и заиграет, заиграет... А мама в это время будет укоризненно смотреть на него и качать головой. Он же бьёт и бьёт по струнам, вынимая из жёлто-лакированного фанерного треугольника весёлую мелодию, а глаза при этом грустные и виноватые. Увидев, что на маму это не действует, откладывает балалайку в сторону, берёт гармошку и объявляет:

– «Коробочка!» Специально для Лизы!

Сделает проигрыш «Коробейников» и запоёт:

Эх, полным полна моя коробочка,
Есть и ситец и парча,
Пожалей, душа моя, зазнобушка,
Молодецкого плеча...

Это он так прощения у мамы просит. В чём провинился – ему пока и самому не ясно. Но видит, что она не в духе, и таким образом пробует понять, где набедокурил. Вообще-то мама у нас умная, толковая и по пустякам не обижается. Но очень чуткая на слова. А он, наоборот, такое словечко может иногда ввернуть, что зацепит её. И ведь не специально – так выходит. Или что-то делает вроде от души, а для мамы получается обидно. Както в свой день рождения она с ули-

цы на веранду входит, а он ждет её там, старательно пряча гордую и довольную улыбку. На столе букет стоит. Её любимые пунцовые георгины вперемешку с другими цветами. И зацветут, отражаясь от них, заиграют мамины глаза. Дарить букеты в нашей деревне в то время было не принято... Потом радость с маминого лица вдруг пропадает. Она быстро распакивает дверь с веранды во двор... Точно. Её клумбы ополовинены.

– Ваня, ну что ты натворил?

Батя вникает, переживает, оправдывается:

– Дак... с днём рождения же, Лиза... Я аккуратнo, ножницами...

Три дня он потом на балалайке играет.

Теперь о словах. Вернее, об их значении между папой и мамой. Своей подруге, моей крёстной – лёлке, она говорила (я об этом позднее узнаю):

– Надя, ну ничего вроде в нём нет, рыжий, небольшенький, ну, правда, глаза голубые и, знаешь, такой ухватистый (лёлка в это время ухмыльнётся), сильный... А так, если присмотреться, вроде ничего и нет. Но как начнёт на гармошке своей окаянной играть или говорить... Всё. Пропадаю... И где он такие слова берёт?

Но бывают и другие слова, о чём я упоминал. Когда батя немного выпьет, то на него, как говорит мама, «находит», а это, честно говоря, не так уж часто и бывает... Так вот, в это время подковырок, ехидства в его словах столько, что на всю деревню хватит. Другие, может, и мимо ушей пропустят или посмеются, а мама всю внутренность слов очень уж дотошно слышит, поэтому сердится.

Они вдвоём любят работать.

Некоторые мужья и жёны наоборот – не любят. Кажется, что мешают друг другу. А им нравится. И у них всё как-то одно за другим, по порядку идет. Без суеты и споров. Особенно по хозяйству: во дворе, в огороде, в сараях. Или на сенокосе.

А здесь бывает так: скосят нам сено на неудобьях около околка, а там его тракторными граблями не сгрёбёшь. Тогда отец просит в совхозе коня, запрягает его в конные грабли, и они едут на покос. Вообще-то на конях в эти годы редко кто что делает, а батя и мама наоборот, радуются, что есть такая возможность. Хочется им вспомнить ранешнее время: как родители их работали, да и сами тоже, будучи ребяташками. Я даже думаю, что отец специально из-за этого на неудобьях и косил.

Около берёзового леска, где целый день напролёт жалуется на что-то иволга и цветут насыщенные неожиданной синевой кукушкины слёзки, они и работают целый день. Отцовский голос эхом разносится по реденькому светлomu околку. Это он с конём разговаривает:

– Молодец, Серко! А теперь давай туда повернём! Вот! А здесь сбросим сено! Умница! Ровный валочек вышел!

Мама обязательно в белом платочке. Она идёт сначала с одного конца валка, собирая подсохшее сено, потом – с противоположного. На середине складывает его в небольшую копну. После того как отец подберёт конными граблями кошенину, тоже примется за копны. А дня через три, после того как солнышко их просушит, ветерком степным обдует, они приедут и сложат скирду.

Отец, протаскивая грабли мимо

мамы, частенько останавливается, подбадривает её, говорит хорошие слова:

– Ишь, какие ловкие копёшки ты, Лиза, ставишь! Прямо как в строю стоят. Другие бабы не знают, с какого боку к сену подойти, а ты хоп – и уже целый навильник. И складываешь, и переворачиваешь как нужно...

Мама смущается, но ей так приятно.

– Да ладно тебе, Ваня.

Она понимает, что он её перехваливает. И копны не такие уж ровные, и сено кое-где на боках лохматится. А сладко на сердце. Теплые слова всегда к месту, а здесь еще и помощь в работе. Да и тон, каким они сказаны, важен, и взгляды отца. Ох, эти взгляды... Сейчас-то мама уже не признается, что они-то и довершили ее девичью погибель на той далекой теперь вечерке, где молодой батя выкамаривал на гармошке такие штуки, что девки табуном за ним ходили из одного края деревни в другой...

«Боже, как давно это было? – думает она, поглядывая на отца. – Вон и ребяташек у нас уже аж четверо... А Ваня у меня еще молодец... И на меня так смотрит, значит и я пока у него ничего, годная...»

Ему же как бы и неудобно перед мамой. Он считает, что грести легче, чем вилами сено поднимать. Но у мамы с конём не ладится, поэтому работа давно у них распределена именно так.

Часов до трёх и управятся с копнами. Начали-то рано, семи еще не было. На самой опушке сидут обедать под свежий стожок на лёгком ветерке. Иволга, примолкшая было от отцовских покрикиваний на коня, осмелеет и снова

что-то сообщит. Кукушка свой голос к ней попробует присоседить. Но не получится у них вместе. По очереди потом будут рассказывать про своё, птичье. Где-то недалеко, за Молочинской гривой, гром предупреждающе проворчит. Да теперь-то что, пусть ворчит – сено в копнах. В общем, благодать, лето. И словно вернётся их молодость. Так и будут какое-то время сидеть в сенокосно-берёзовой неге, вольно привалясь спинами к копне, неопределённо-счастливо улыбаясь. Мама, прикрыв глаза. Отец, утонув своим прозрачным взглядом в небесной бездне, где на невероятной высоте, под самым солнцем парит фиолетовой точкой только ему видимый и понятный степной орёл.

Потом мама легко и счастливо вздохнёт:

– А и хорошо, Ваня...

Он только прищурится в ответ – зачем говорить? И вдруг они... заснут нечаянно. Заснут на короткое, освежающее время, несущее их по июльским сенокосным волнам. Потом разом очнутся и разом же засмеются этой неожиданной и краткой светлой сморённости, какая с ними случится. Мама потянется за узелком со снедью. Расстилая на траве вышитую крестиком тряпицу для еды, всё-таки не вытерпит, напомнит:

– Вань, а вот так всё время – нельзя?

– Ты про что, Лиза?

– Да про то, что в твоих словах бывает: перец, перец, а потом – раз – и сахар. Так ты что, думаешь, сразу сладко станет после перца?

– В борщ сахару что ли сегодня насыпала, Лиза?

Батя притворяется, что не понимает, о чем речь. Он не любит

этого. Он вообще удивляется, как это люди, живущие вместе, могут по дню, а то и больше не разговаривать. Любимая его присказулька: «На сердитых воду возят...». И поэтому, когда мама обижается, он старается как-то её развеселить. Прибаутками, песнями или испытанными балалайкой с гармошкой. Но делает это так, чтобы мы, ребяташки, этого не видели и не слышали. Неудобно ему. Да разве скроешь что в деревенской семье... И как только мама в ответ на его виртуозные заглаживания вины улыбнётся, тут он уже гоголем ходит – значит простила. И снова пойдёт у нас в доме всё ладом да миром...

Про дела вдвоём. И правда, сейчас вот думаю – везде они всё вместе делали. Разве вот только охота и рыбалка были безраздельно отцовскими занятиями. И еще чисто мужская, тяжелая работа. Сарай, к примеру, поставить, погреб выкопать, колодец вычистить, ворота смастерить. Да много ещё всякого. В таком случае, если у него что-то в две руки не выходило, попросит маму помочь. Но так, по мелочам – молоток или ножовку подать, лестницу подержать.

Став уже взрослым, я всё равно удивлялся отцу. Бывало, приеду на пару дней в гости, а он сарай строит. И не абы какой, а большой, разделенный на две половины, где в одной будут коровы, в другой – овцы и прочая мелкая домашняя живность. А время, допустим, за середину августа. У него же еще только столбы стоят. Без верхней «обвязки» под крышу, без балки, без стропил. В наших местах редко кто в одиночку под осень такую работу затевает. Зимы-то ранние, можно к снегу и не успеть. Будет потом эта стройка мокнуть да кис-

нуть в осенних дождях. А зимой ее ветрами обобьет и снегом завалит.

Мне он обрадуется. Скажет с сожалением:

– Что же они, начальники твои, всего на два дня отпустили? На недельку бы? У меня тут, видишь, какая канитель...

Промолчу. Откуда я знал, что он тут затевает. Мобильников в то время не было. Да и не отпустили бы меня на дольше. Получилось-то все равно чуть не на неделю. Два дня это только в родительском доме. А день приезда, отъезда? Вот и ещё два дня. А если бы дождик чуть брызнул, то по родным кулундинским солонцам и за сутки бы не добрался.

Отец поймет все по-своему, махнёт рукой:

– Да и то ладно, хоть на рыбалку съездим вдвоем... Сетёшки на Водопойном поставим. Там от караса сейчас прямо кипит озеро.

В ответ ему произнесу все-таки что-нибудь неопределённое по поводу сарая. Вроде восхищения, что ли:

– Ничего себе стайку хочешь отгрохать...

Он бросит на меня настороженный взгляд – не специально ли я так сказал? Поправит со вздохом

– Какая же это тебе стайка? Сарай...

Я осекусь и буду чертыхаться про себя. Ведь знаю, знаю отличие сарая и от стайки, и от пригона. В некоторых краях это одно и то же, но отец строго отличает и всегда подчеркивает разницу между основательным тёплым сараем, более прохладной и легкой стайкой, предназначенной скорее для птиц и овец, и пригоном – загородкой из плетня или жердей, где скотина содержится летом. А я тут ляпнул. Вроде как специально. Хотя этой

оговоркой ничего нового я, конечно, для отца не открою. Он давно считает меня пропащим для деревни человеком...

Даже сейчас, когда столько лет прошло, вспомнив про это, хожу по квартире, устыженный теми годами. Хоть беги через время и достраивай этот злополучный сарай, уже и сгнивший много лет назад. Да не побежишь. И прощенья не выпросишь.

А тогда... Будем собираться на рыбалку, и я подмечу, как батя с жадностью посматривает на недостроенный сарай и с недоверием на небо – пойдут дожди, и станет его работа. А заикнешься (правда заикался я не очень-то и настойчиво), мол, батя, может, сараем займемся, в глазах его мелькнет искорка благодарности и надежды, но он тут же ее и пригасит:

– Да ладно тебе... За два дня мало чего успеем, а так – ты хоть степень да озером подышишь.

Через месяц приеду, стоит почти готовый, как игрушечка, сарай, уже под крышей, с яслями, загонами, дверями, оконцами, с простенками, плотно набитыми камышом и уже обрешеченными, а рядом «круг» с глиной, вперемешку с соломой, которую он намесил, специально выпросив для этого лошадь в совхозе... И мама торопится, заканчивая обмазывать стены, чтобы, схватилась и успела подсохнуть глина до холодов.

Когда вот это все он успел? Ведь двумя руками делалось. И не кое-как, а основательно, крепко. Не на год-другой, а на пару десятков лет точно. У него, между тем, ведь главная работа в совхозе была, где он целый день как заводной бегал. Практически без выходных. Какие там выходные в деревне! Вот и выкраивал по паре часов с раннего

утра да с позднего вечера. А когда и при лампочке, подвешенной на стропила, тюкал топором и стучал молотком, пока мама домой не загонит.

Поездки вдвоем в лес или в степь были для них почти праздниками. Как-нибудь на излете лета мама напомнит отцу:

– Ваня, люди уже костянку несут. И гриба, говорят, нынче всякого полно в околках. Может, съездим под Алексеевку? Лето уж вон где, а мы еще ни разу в лесу не были и грибов жареных не ели. Да и посолить бы хоть баночку.

Разом соберутся и поедут на стареньком и надежном мотоцикле М-72. Вообще-то батя не любит и не умеет собирать ни ягоды, ни грибы. Считает это несерьезным занятием для охотника и рыбака. Его стихия – озера. У воды он становится совершенно другим человеком: быстрым, подобранным, чутким. Здесь он знает и умеет всё. Иногда просто поражает тем, что делает.

Как-то говорю ему, что слышал от дружка, будто в Савельевом озере мужики карасей чуть не ваннами черпают. Он недоверчиво смотрит на меня, недоверчиво же и говорит:

– Вряд ли... Сколько помню, там карась только два раза и заводился. После войны в сорок седьмом, кажется... Сам я этого, правда, не видел, мы тогда не здесь жили, это мне потом дед Мукараш из Молок рассказывал... А ещё?

Он хмурится, подсчитывая:

– Во, вспомнил... Когда Санька наш родился... В пятьдесят шестом... Мы тогда с Федором (родной брат) запускали мальков на развод. И вроде тогда они подросли, а через год пропали. А сейчас... Нет, не верится что-то. Не

приживается там карась. Не его это место. Про Водопойное и Сопатое поверю, а здесь – нет.

Но не удержится, поедет со мной.

У озера будет ходить по берегу, смотреть на заводь, на птиц, что гомонят на плесе, шевелить песок носком сапога... Потом сунет руку в воду и даже зачем-то попробует ее на язык. Пришурившись, взглянет на полого снижающееся за гриву солнце и сообщит:

– Даже и заплывать не надо, нет здесь никакой рыбы. А вот утки по осени много будет... А давай спросим, если не веришь, вон кто-то из-за камышка плывет.

И как я не заметил? Точно, кто-то плывет. Приблизился, видим, парень с нашей улочки – Витька Горковенко, тоже заядлый рыбак и охотник. Улыбается, кричит издали:

– Что? Тоже попались? Нет здесь, дядя Ваня, никакой рыбы. Сутки сети простояли, тиной да мормышем их забило, вот и всё.

– А я что говорил? – скажет батя и по своей привычке сдвинет фуражку на затылок...

Да, про лес чуть не забыл, куда отец с мамой поехали на мотоцикле. Тут так: у бати в лесу свои дела, у мамы свои. Батя все норовит маму в околки за Молочинскую гриву сманить, а мама в Куликовские или Алексеевские леса хочет, где с детства любила бывать. Она понимает, почему он ее сбивает. Под Молоками и за Молоками, так называлась старинная деревня, его любимые озера: Водопойное, Савельево, Сопатое... Но маме они зачем? Ей ягоды да грибы нужны, поэтому туда и едут. Чаще всего сначала в Жидов окол – в этот загадочный, длинный,

березово-осиновый лес. Загадочный, потому что никто не знает, откуда такое название. И еще: за лето в этом лесу перебивают почти все жители соседних деревень, а все равно он не пустой, хоть горсточку костянки, хоть пяток-десяток грибов да найдешь.

Мама сразу и убежит в лес. Перед этим, конечно, решат, где отец будет ее ждать. Это к тому, что рядом с Жидовым и другие околки есть, а она умудряется нередко и их за это время обойти. Бывает, сидит отец на опушке, строгают черенок для вил, поджидая ее с одной стороны, а она через поле идет из соседнего околка, что напротив. Когда успела туда прошмыгнуть? Глядит – у нее уже набрано полбидончика костянки, а из корзинки грибы выглядывают. Не удержится, скажет:

– Надо же, и грибы у тебя, и костянка? А я с краю здесь заглянул, ничего не увидел.

– Да костянка это так, Ваня, я же грибы смотрела.

Это она сплзнуть боится. Есть поверье, что в лес надо ходить за чем-то одним: либо за ягодами, либо за грибами. И она, когда в околок вступает, потихоньку шепчет: «Я за грибами, я за грибами, я только за грибами...». Ну а если за ягодами, то так же и про них отговаривается...

Отец удивится, что она уже набрала ягод и грибов, а мама порадует за него, когда увидит рядом с мотоциклом свежеструганные березовые черенки для вил и лопат, несколько осиновых жердинок и охалку ракиты. Про ракиту догадается, что за ней он к ляге успел съездить. Ракиты-то только там можно нарубить. Заметит и след от мотоцикла в траве в ту сторону.

А он сидит и теперь маленькую

корзиночку из тонких ракитинок плетет. Это нам, ребятишкам, подарок хочет сделать. Будет таких маленьких корзиночек четыре, а в них ягоды – «гостинец от зайчика».

Мама улыбается, поправляя белый, в красно-синий цветочек платок:

– Ты прямо на полхозьяства заготовок наделал...

– Скажешь тоже, Лиза...

– А в лесу, Ваня, воздух березовый и уже осенним листом припахивает. А еще я птицу какую видела. Черная, как трубочист, а стучит по осине, ну дятел и дятел...

– Дак это дятел и есть, только черный. Так и называется... И как ты рассмотрела? Они редко у нас попадают. Сильно осторожные. Постучит и оглянется потом десять раз, а чуть шорох где – порх и улетел.

Он своим с ней поделится:

– Я к ляге поехал, а около дороги барсук, сидит, смо-о-о-грит на меня. И главное не убегает. Подождал, пока проеду, и потом только дорогу перебежал. Я оглянулся. Бежит. Да смешно так, толстый, переваливается. Надо же, и не боится...

Мама еще раз легонечко вздохнет:

– Лес прямо как вымытый, прозрачный, и тихо-тихо...

Отец пообещает:

– Я вот осенью тебя снова на свои места свожу. За Водопойное, когда лист пожелтеет. Помнишь, ездили?

Лицо у мамы осветится:

– Ой, помню... Правда, поедем?

И слегка смущенно:

– И костер разведем?

Отец улыбается, тоже вспоминая:

– А как же... И костер разведем,

и супчик степной сварим... Загуляем с тобой... И...

Отец вдруг засмеется, а мама ему:

– Чего... и?

– Да я подумал и гармошку возьмем да как врежем на всю степь!

Мама тоже начинает смеяться, потом говорит сквозь проступившие слезы:

– Ага, доярки мимо будут ехать, а их бригадир в степи концерт по заявкам дает... Подумают, что ополоумели мы...

– А пусть думают...

И ведь обязательно выдастся для них такой сладкий денек. И обязательно под самый конец сентября, когда березовые околки, насыщенные лимонно-оранжевой листвой, горят под прощальным солнцем в такой непосильной для сердца красоте, что от ее всепоглощающей неизъяснимости хочется плакать или смеяться...

Да. Жили и жили мои родители... Жили как могли, как и вся наша лесостепная деревня. Нас четверых поднимали, растили. До надсадности работали в совхозе на фермах и полях, день и ночь крутились по своему хозяйству.

И думаю, а много ли было у них таких, как тот, что на сенокосе или в лесу, дней? Случался ведь и «перец», про который мама говорила. Только горечь тех легких размовок была никчемной и досадной горчинкой по сравнению не с горечью уже, а с горем, страшным до безысходности, которое не просто выедаёт душу, а почти не оставляет для жизни просвета.

Еще далеко до их женитьбы, ушедший в 17 лет добровольцем на фронт в конце сорок третьего года, отец заболел там тяжело и страшно. Если бы это было в начале войны, то так бы, наверно, и

сгинул, скрючившись где-нибудь в промерзшем окопе, с раздираемым легкими кашлем, в горячей, туманящей сознание лихорадке. А тут заметили, комиссовали... Но как бы и не до конца, определив больного, прямо в военной форме, на завод точить снаряды.

После победных дней выхаживала его матушка в родной деревеньке, приютившейся на полуострове озера Чаны. Выхаживала от туберкулеза, который в те годы почти всегда был приговором. Врачевала банями, парным молоком, бараньим да барсучьим жиром. Да еще молитвой горькой и горячей, в коей были и русские крамольные вопросы к Богу, приходящие всякий раз нашему человеку в черные, немочные до отчаяния минуты: «Ты ведь отобрал уже самого большого, расстрелянного в тридцать восьмом? Что же старшего-то к нему так рано призываешь? Ведь только-только приподняла их всех? Помогите! Пятеро еще на руках... На него-то, на старшего, и была надежда...».

И выходила, и отмолила. Встанет мой будущий батя на ноги. Охотой да рыбалкой начнет помогать семье. У Степного моря-озера Чаны, набитого рыбой и дичью не ленивому да здоровому прожить-то можно. И гармошка его зарадуется в доме и балалайка завеселится...

В далеком от их озерной деревни степном поселке черноглазую невесту найдет. Жизнь засветится и заиграет любовью и надеждами. Но когда нас, пацанов, будет у них уже двое, догонит его снова старая болезнь. И будет как тень ходить он по двору, качаясь от слабости и виновато улыбаясь маме... И совсем отчаится, когда, попробовав

тайком расколоть полено, после двух ударов упадет на плетень и будет задыхаться в холодной испарине, хватая раскаленными, изболевшимися легкими острый, словно набитый стеклянными осколками воздух...

Тут его увидит мама. Остановившимися провально-черными глазами посмотрит будто в самую глубь жизни и смерти, скажет:

– Не отдам я тебя, Ваня, ей, не отдам. Ты только не сдавайся, переможем, я знаю...

И перемогут. И снова батыю поднимет любовь. Теперь мамина. И многое еще придется им перемочь. Почти нищету во время его болезни и смерть сына-десантника, белокурого нашего Петьки с робкой улыбочкой.

Годы уйдут, и смерть станут упоминать уже без опаски, не боясь накликать. Знали, не отцепишь ее. Это ведь неразрывно. Жизнь – смерть. Смерть – жизнь.

Мама после многих лет своей болезни будет говорить:

– Эх, отец, если б ты знал, как мне тяжело... Уйду, наверно, скоро я, как без меня будешь?

Он со странной и долгой улыбкой посмотрит на нее и вроде укорит:

– И ничего-то ты, мать, не знаешь ни про себя, ни про меня... Ты вот болеешь и будешь так поти-

хоньку болеть и жить, жить... А я?

Он приосанится, сделает такое движение, будто хочет пуститься в пляс, и голосом, деланно веселым, но с грустными до середины сердца глазами, произнесет:

– А я буду бегать, бегать, а потом – брык и нету меня...

В одночасье батя и уйдет. Мама переживет его на четырнадцать лет.

Первое время, словно не веря, что его нет, она еще и поругивалась с ним:

– Эх, отец-отец, ну что ты вот натворил? Кто тебя просил? Взял и умер... Я бы прямо налупила тебя за это...

Вот так. Жили и жили мои родители... Нет. И сейчас живут. Бывает, среди суматошных дней, как толкнет кто меня – вдруг ясно услышу батину балалайку, ее тоненькую, мелко-звонкую мелодию. И мамин приглушенный голос, доносящийся с веранды:

– Да тише ты, Ваня! Чего это ты с утра сегодня? Тише! Ребятишек разбудишь!

Не надо тише! Играй, батя! Громче играй! Будите нас, родители! Будите! Не жалеите! А мы сейчас как выскочим все на нашу любимую поляну перед домом... И засмеется степь.